

Анатолий Агеенко впервые печатается в альманахе «Складчина». Его проза – это сама жизнь. У автора меткий, наблюдательный глаз и искусное, мастерски отточенное перо. Он умело превращает скупые цифры статистики в художественный сюжет. Рассказ «Деревни России» в этом смысле показательный. Взяв за основу лишь «голые» фактические данные, Писатель создал живописную постапокалиптическую пастораль – страшную своей жизненной правдой и увлекательную своей фабулой.

Наталья Елизарова

I

Пассажир по имени Анатолий Алексеевич ехал в поезде дальнего следования «Владивосток – Москва» и уже вторые сутки наслаждался одиночеством в своём купе. Был конец сентября. За окном, видно, стояла та самая «милостивая погода». Природные ландшафты принарядились красками осени, солнечные дни радовали приятными впечатлениями. Анатолий Алексеевич – человек лет шестидесяти, с аккуратной бородкой, красиво обрамляющей лицо, – сел во Владивостоке и часами, не уставая, смотрел в окно.

На третьи сутки рано утром на станции, где поезд стоял не более двух минут, в купе вошёл другой пассажир – черноволосый, с располагающими чертами лица, поздоровался и назвал себя. Обосновавшийся хозяин купе (он ещё спал) приподнял голову и, смерив полусонными глазами вошедшего, буркнул что-то в ответ, недовольный тем, что сон его прервался.

– Давно едете? – спросил новый пассажир, явно с той целью, чтобы что-то сказать.

– С самого начала, – сухо ответил Анатолий Алексеевич, всем своим видом давая понять, что не склонен вступать в беседу, и отвернулся к стене с намерением заснуть снова.

– Давненько, – сказал как бы самому себе «новоявленный» пассажир и стал устраиваться.

Потом он, к удовольствию Анатолия Алексеевича, постелил постель и тут же лёг спать. Проснулся где-то во втором часу дня. Пошёл умываться, а затем пообедал варёным яйцом, помидорами, куском колбасы и с наслаждением запил это всё кофе. Анатолий Алексеевич не стал мозолить глаза, вышел из купе, предоставив столик в полное распоряжение проснувшемуся и проголодавшемуся пассажиру. Затем, когда тот закончил трапезу, он молча вошёл в купе и так же молча устроился в окно.

II

И так они оба – с глаза на глаз – молча смотрели в окно, пожалуй, с час.

– Всё кладбища и кладбища, – неожиданно и с надрывной грустью тихо произнёс Анатолий Алексеевич.

– Что? – встрепенулся сосед по купе, погружённый в свои мысли. – Что вы сказали?

– Да я говорю, что вот еду уже третьи сутки – и всё по дороге попадаются кладбища, кладбища. Вот только что проехали ещё одно. Странно как-то. Ну что мешает отводить им место где-то в стороне, подальше от дороги? Я хочу сказать: не на виду у всей России. А то едешь, а они – грусть навевают...

Утренний пассажир только сейчас с интересом и пытливым взглядом на попутчика, как бы оценивая его по каким-то своим меркам. Его вдумчивые серьёзные глаза указывали на склонность к долгим размышлениям.

– Николай Александрович Червинцев, – представился он, подавая руку.

– Анатолий Алексеевич Томарин, – поспешно ответил Анатолий Алексеевич, привставая и крепко пожимая руку. – Спасибо, что представились, а то вы назвались давеча утром, а я тут же, спросонья, выронил из головы.

– Это бывает, когда не собираешься говорить, – проговорил Червинцев и продолжил: – Вот вы размышляете про кладбища... Ну что, что в этом плохого, в том, что они возле дороги? Пусть! Кто-то проводит сочувственным взглядом, как вы, кто-то просто посмотрит, мо-

жет, задумается о своей судьбе, кто-то помолится. И это уже хорошо. По мне – лучше смиренная грусть, чем дикое веселье.

– Я заметил, – подхватил Томарин, – часто встречается так, что если по одну сторону дороги населённый пункт, то по другую сторону – кладбище. Жизнь и смерть, разделённая железнодорожным полотном. Тут живут люди, привязанные к своим домам, а там – покойники, прикованные к своим могилам.

– Быть заботливо похороненным не так уж плохо, – задумчиво возразил Червинцев. – А бывает, что только ветер в поле да случайное зверьё. Могилы забыты, брошены... А знаете, как умирают русские деревни? – и не ожидая ответа, продолжил: – Они умирают тихо, безвестно и жутко! Хотите немного статистики? Согласно результатам последней переписи, у нас в стране исчезли с лица земли пятнадцать тысяч населённых пунктов. Вдумайтесь: пятнадцать тысяч!.. – и Червинцев словно подчеркнул свои слова взволнованным жестом руки.

– Вы, наверно, специалист в этой области?

– Какой специалист?! Я – обыкновенный гражданин, интересующийся судьбой нашей страны. Таких не любят. Чего-то там выискивают, до чего-то там докапываются, роются в архивах, сравнивают, анализируют, задают неудобные вопросы. Но, слава богу, такие люди сегодня ещё есть... Только представьте себе: пятнадцать тысяч населённых пунктов! И страна не вскрикнула, не ужаснулась. Нет, у нас всё тихо. Потому что власть наша считает, что положение это естественно и таким и должно быть. Помните это место в романе Толстого «Воскресение», где Нехлюдов рассуждает о судьбе народа? Я не устаю при всяком удобном случае цитировать эти слова. Заметьте, как глубоко копнул мыслитель. Вот послушайте.

Червинцев почти что патетически стал цитировать мыслителя:

– «Народ вымирает, привык к своему вымиранию, среди него образовались приёмы жизни, свойственные вымиранию...». Каково вам?! «Приёмы жизни, свойственные вымиранию». И дальше: «И так понемногу приходил народ в это положение, что он сам не видит всего ужаса его и не жалуется на него. А потому и мы считаем, что положение это естественно и таким и должно быть». Господи! «А потому положение это естественно и таким и должно быть», – тоном отчаяния повторил Червинцев. – Раньше не видели... И сейчас не видим. «Положение естественно и таким и должно быть».

Произнеся эти слова, Червинцев в крайнем волнении стал смотреть в окно, но видно было, что он не различал того, что мелькало перед глазами.

– Да мы сами, народ нашей удивительной страны, не видим и не замечаем всего ужаса своего положения! И что ещё хуже – находим это положение нормальным. Наше современное общество подобно карасю-идеалисту, мечтающему о бескровном преуспейании и гармонии.

– Ну, тут я с вами не согласен, – возразил Томарин. – Народ-то замечает, да что толку...

– Это как он замечает?! – едко, перебивая, воскликнул Червинцев. – Что-то мне не приходилось слышать о всплесках народного удивления или каких-то возмутительных телодвижений народа ради самого себя. Мы привыкли к вымиранию, и весь ужас как раз заключается в этом. Одиночные вскрики маленькой толпы – это всё равно что вопль в глухой тайге. А власть пребывает в уверенности, что «положение это естественно и таким и должно быть»!..

– Что ж, это такой рок нашей страны, – проговорил Томарин. – Вспомните из истории, что творилось в стране до революции. Страна мечтала об очищении, обновлении, но за эту революцию народ заплатил страшной ценой: миллионы безвинно погибли. Вы к чему призываете? К новой революции и новым неоправданным жертвам? Тогда я не на вашей стороне. Я не историк, но исходя из тех знаний, которые мне доступны, могу сказать, что никогда в истории государств бунты и революции, взяв хотя бы нашу страну и Европу, к благоденствию народа не приводили. Вот жертвенную дань всегда платили высокому, а всё оставалось как прежде или хуже того.

– Я не о революции мечтаю, – сказал Червинцев, – я взываю к самосознанию людей. Я о памятовании народа. Пятнадцать тысяч населённых пунктов! Там же люди жили!.. И люди в них умирали и умирают тихо, безропотно и жутко! Вы, наверно, знакомы с творчеством Бальзака, Виктора Гюго, читали их произведения «Отец Горио», «Отверженные»! Глядя на жизнь наших одиноких стариков русской деревни, так и хочется воскликнуть: «Где наш русский Бальзак? Где наш русский Гюго?». Чтобы, понимаете, с любовью к брошенному, одинокому, забытому человеку при живых детях – столь животрепещущей фразой описать жизнь и смерть безвестных людей, прозябающих в глубине российских территорий! Где сегодняшней

Достоевский, чтобы живописать униженных и оскорблённых двадцать первого века! Где наш современный Некрасов, чтобы прозвучало обличительной строкой: «Кому на Руси жить хорошо?!». Ленивый сегодня не пописывает, полки завалены ма-ку-ла-ту-рой! И что пишут?! Детективы, боевики, пошлые любовные романы и всякую мистическую чушь. Пошлостью и чушью завалены книжные магазины. Пошлость теперь у нас в фаворе. Всё направлено на то, чтобы оболванить сознание, очерствить сердце. Молодые люди, не задумываясь, закапывают свою совесть так скоро и так глубоко, как только можно, чтобы не мешала им эта совесть в погоне за наживой. А ведь русской литературе было свойственно глубокое копание в душе, самоедство во имя поиска смысла жизни и постулатов высокой нравственности. Совесть, сострадание и любовь к народу водили их рукой. А теперь рукой современных писак водит безверие, безбожие... дьявол водит! Вот хотя бы взять меня: разве моя жизнь не достойна кропотливого исследования состояния моей души в поисках оправдания или презрения меня? Я готов, так сказать, к препарированию души моей, готов открыться совестливому перу, вернуться перед ним наизнанку.

III

Воспользовавшись паузой, Томарин с участием проговорил:

– Простите, но я, сам того не желая, взволновал вас. Вы так близко всё принимаете к сердцу.

– Чепуха! При чём здесь сердце? Хотите, я расскажу вам одну жуткую историю, приключившуюся со мной в одной из таких погибающих деревень? Одной из пятнадцати тысяч. Теперь нет этой деревни на карте страны. Она – разлагающийся труп. Пренеприятнейшая для меня история. В ней я то ли преступник, то ли благодетель – до сих пор не могу прийти к какому-то умозаключению.

– Так не рассказывайте, зачем вам себя изобличать? Потом будете жалеть.

– Нет, я хочу себя изобличить. Я хочу переступить через себя, хотя бы перед случайным попутчиком. Мне это необходимо, это, так сказать, потребность души. Вы внушаете мне доверие. Я чувствую в вас рассудительное сердце.

– Вы мне льстите. Сам я себя к сословию предобрейших не отношу. Ну, если вам это нужно...

– Да, мне это нужно. Два года я таился, нося в своём сердце уныние. Я до сих пор не могу понять: как я, сердобольный, здравомыслящий человек, мог позволить вовлечь себя в эту историю? Тем не менее вы имеете полнейшее право презирать меня и считать злодеем.

Червинцев задумался, вперив взгляд в столик, потом поднял полные печали глаза и начал:

– Я не стану вам рассказывать о своей жизни – кто я, что я. Просто не хочу, чтобы вы стали судить меня, – жалея меня, исходя из добротпорядочности моей жизни. Скажу только то, что я – член Русского географического общества. Это чтобы вам был понятен мой интерес к истории русских деревень. И вот, задумавшись о состоянии русских деревень, я решил своими глазами посмотреть, как умирают русские деревни, и сделать доклад на осеннем заседании Географического общества... Позвольте узнать: может, я всё же злоупотребляю вашим вниманием? Или нет?

– Нет, что вы! Сделайте одолжение, я весь во внимании.

– Ну, тогда я продолжу. Прошу сразу извинить меня за возможно излишние подробности.

– И не стоит вам даже оговариваться: длинная дорога всё простит, не берите в голову.

Червинцев улыбнулся этому замечанию и начал рассказ.

IV

Эта история случилась со мной два года назад. Лето уже было на исходе. Я специально выбрал то время, когда досаждающие насекомые почти извелись. Я умышленно принял решение посетить деревни не в своей родной области, с которой знаком довольно неплохо. Знаете, всегда находится какой-нибудь местный всезнайка, вездесущий географ, сгорающий от нетерпения дополнить тебя, и, что ещё хуже, начинает спорить с тобой, опираясь на свои впечатления, слухи или догадки.

Мне посоветовали поехать в Энский район Энской области, где ещё можно было встретить поселения староверов. Я размечтался, скажу вам, побывать и даже пожить, если повезёт, в такой деревеньке.

Однако, когда я приехал, меня постигло разочарование – таких поселений давно уже и в помине нет. Досада, конечно, большая, но не возвращаться же. Словом, я человек дела, поэтому решил свою за-тею довести до конца.

В районной администрации, куда я пришёл за помощью, меня с немалой долей скептицизма выслушали, но всё же указали на одно умирающее сельцо, которое лежало в километрах пятидесяти от районного центра. Некогда это село считалось средним, но довольно крепким. На тот момент моего вояжа, как мне говорили, там могли быть ещё жители. Заметьте, сказано было «могли». Хотя, если вникнуть, можно и отбросить иронию: район – безлюдный, деревни разбросаны на десятки километров друг от друга. Дороги – одно название: в распутицу не проедешь, только на лошади или пешком.

Я решил пойти пешком и, конечно же, один. От проводников отказался. Если честно, мне особо никто и не навязывался. Я полагал, что сам дойду. Я, как можете по мне видеть, человек не слабый, привыкший ходить пешком. Да и хотел доставить себе удовольствие любованием природы и размышлением с самим собой. Я это люблю, знаете, и одиночества не боюсь. Когда ты не один, нет того острого восприятия природы, самого себя, чувства, мыслей.

В день, когда я отправился в своё маленькое путешествие, всё сложилось как нельзя лучше: до развилки меня подбросили на попутке, а это, ни много ни мало, километров пятнадцать будет, а может, и все двадцать. Таким образом, я сэкономил силы.

Пройдя две трети пути, как я полагал, я вновь оказался на развилке, о которой мне ничего не было известно. Я расстроился и задумался. А потом поразмыслил и пришёл к такому заключению: раз деревня умирающая, то и дорога к ней должна вести убитая. Ну и пошёл по этой убитой дороге, которая с развилки уходила влево. Шёл я, шёл – и, по моим прикидкам, пора бы показаться селу, а не тут-то было: и дорога всё хуже пошла, и местность всё более дикая.

Забеспокоился я: не вернуться ли мне обратно до развилки. Решил, что пройду ещё с полчаса, а потом уж поверну обратно, если что. Но на душе у меня всё же какая-то уверенность была, что правильно я иду, и особого беспокойства я не испытывал. Как раз дорога пошла на подъём, и я подумал, что, может, с возвышенности огляжусь и скорректирую, так сказать, свой курс.

Местность, по которой мне пришлось идти, в основном спокойная была, с лёгкой холмистостью. Поначалу показывались поля, а после развилки уже полей не было видно, только заброшенные сенокосы изредка попадались.

Вышел наконец я на эту возвышенность – и сразу ниже, сквозь деревья, разглядел деревню. Отлегло у меня на сердце: ну, думаю, пришёл. Раз в деревне живёт ещё несколько человек, – кого-нибудь да встречу, у кого-нибудь да заночую. Я приободрился и по дороге под горку пошёл повеселее.

Село почти среди леса лежало. С десятков домов я насчитал, идущих не в ряд, образуя улицу, а стоящих как попало на свободной от леса местности. Домов пять были уже в довольно плачевном состоянии, а другие – ничего, крепенькие, хоть сейчас заходи и живи. Изгороди даже сохранились, стёкла в окнах на месте, печные трубы сиротливо смотрят в небо. В самом деле, заходи и живи. Иду я от дома к дому, не решаясь ни в один из них зайти, думаю, может, кто сам выйдет, заинтересовавшись мной. А вокруг тишина! Мёртвая тишина, ни один звук не изобличает человеческой души. Станным мне показалось, что даже лая собак не послышалось. Уж собаки, по моему разумению, должны были меня почуять. Но нет! Стоит как есть зловещая тишина.

А вечер, знаете, быстро надвигается: сентябрь на носу, день намного короче, и солнце вот-вот скроется за лесистым бугром. Ну, думаю, пройду мимо всех домов, а потом уж в какой-нибудь из них стучаться стану. Смотрю, смотрю по сторонам – и уже замечаю дикое буйство трав: всё заросло бурьяном. Будь тут живая душа, разве позволено было бы такое! Хотя, если подумать и принять во внимание немощность стариков, где уж там им бороться с природой. Ну хотя бы огороды были свободны от зарастания. Я так думаю: в деревнях, пока будет жив хоть один человек, – будет посажена и картошка! Но, куда ни гляну, – всё в бурьяне. «Неужели бросили деревню? Как жаль, – думаю, – столько усилий и напрасно». Только я так подумал, как заметил у двух домов, стоящих рядом, чистые от травы огороды. «Ага, – обрадовался я, – есть всё же жизнь в деревне. В двух домах, значит, живут люди». Я пошёл к дому, который был ближе ко мне, остановился у калитки и крикнул:

– Эй, есть кто-нибудь!

Никто на мой голос не отозвался. Подождал я немного – и снова кричу, громче прежнего:

– Хозяева, отзовитесь!

Голос мой поглотила мёртвая тишина, как-то не по себе мне сделалось в этот момент. Знаете, нутром почувствовал царствующую в селе смертную жуть. Стою, то и дело оглядываюсь, будто за моей спиной кто-то стоит, прячется от меня и в прятки со мной играет.

– Нет там никого, – вдруг услышал я.

И этот голос сначала меня напугал, настолько он прозвучал неожиданно и потусторонне как-то. Меня аж передёрнуло. Ну а потом, само собой, я обрадовался, всё ещё не видя самого человека. Вглядываюсь и не вижу никого.

– Сюда идите, – снова послышался голос.

Я пошёл на голос и увидел наконец живого человека, а подойдя ближе, и вовсе хорошо его разглядел. На вид ему было лет семьдесят. Хотя на самом деле он мог быть много моложе. Сельские жители обычно выглядят старше своего возраста лет на пять, на десять. Не взыщите, я опираюсь на собственные наблюдения. Он был высокий, сухой и неестественно прямой, как бревно, оканчивающееся головой с копной седых волос несколько набок. Густые брови, морщины от глаз, спускающиеся к обеим сторонам рта (признак душевного страдания), дополняли портрет старика. Стоит передо мной в трико, майке, пиджаке, в старых зимних ботинках на босу ногу – и вроде бы глядит на меня. Меня поразили его глаза – остановившиеся, потухшие. Но сквозь вуаль тупого равнодушия виделась сильная озабоченность, будто он хотел что-то вспомнить – и никак у него не получалось это «что-то» вспомнить.

– Вам кто нужен? Серафима Кондратьевна?

Я в растерянности молчу, не зная, что ответить.

– Простите, я не к ней. Я сам по себе. Как бы вам это сказать... Ну, что ли с исследовательскими целями, – брякнул я, подумав про свои географические дела, – посмотреть, как живут люди в таких деревнях, как ваша. Понятно я вам объяснил?

– Так вы значит не к Кондратьевне? Ну, ладно, если не к ней. Ждала она, всё ждала. Не дождалась. Две недели назад как померла, вон там могилка её.

– А ещё, кроме вас, жители в деревне есть?

– Никого не осталось. Я вот один теперь. Так вы, что же, обратно? Что-то я не вижу, на чём вы приехали.

– Я пешком пришёл.

– Пешком?

– Ну да, пешком. Целый день вот шёл. Я бы хотел переночевать. Вы не пустите меня на постой?

– Охота вам была переться?! Я-то что, рад буду, милости просим. Серафима как умерла, так и поговорить стало не с кем. Хотя с ней тоже особо не разговоришься: молчаливица была. Да хоть было с кем поздоровкаться, и то ладно.

– Так что ж, вы будете выезжать отсюда? Не одному же здесь оставаться.

– Пойдёмте в дом, – не отвечая на мой вопрос, сказал старик. – Ужинать будем.

– Меня зовут Николай Александрович, можно Николай.

– Ну а я буду Фёдор. Огневой Фёдор Платонович.

– Червинцев Николай Александрович. Вот и познакомились, слава богу.

V

Сели ужинать, чем бог послал. Я вывернул припасы из своего рюкзака. Фёдор Платонович поставил варёную картошку да солёные грибочки, за ужином рассказал про своё бобыльское житие. Может легко себе вообразить его рассказ, я опущу эти подробности, хотя они заслуживают отдельного человеческого понимания и сожаления. Но это только мы, городские, можем сожалеть, глядячи на них, деревенских. Сам, например, этот Фёдор Платонович сильно сокрушался, что вот умрёт – и никто не будет знать об этом; вот если бы он был уверен, что, скажем, сегодня умрёт, а завтра явится кто-нибудь и упокоит его с миром, – он был бы в самом уверенном расположении духа. А что один – так что тут ужасного? Деревня мирная, даже дикий зверь не докучает. Худого человека можно только опасаться, так, слава богу, далеко, не ходят сюда.

– Хорошо, – говорит, – конечно, с одной стороны. А как быть, коли помрёшь? Тут тебе и заковырка. Вот и чешу себе репу, издумался уже весь до дыр.

Выходим мы после ужина во двор, – я в сених и замечаю гроб; стоит себе, приткнутый к стене, готовый для употребления: и красной тканью обшит снаружи, и белой простынёй изнутри. А когда мы заходили в дом, я почему-то его не заметил: может, Фёдор Платонович дверью его как-то отгородил от меня. Так вот я и спрашиваю: «Это для чего?». Наивный, конечно, вопрос. Сам мог бы догадаться.

– Знамо для чего, – невозмутимо отвечает мне Фёдор Платонович. – У меня и могилка приготовлена, досточками покрыта, от не-настья прикрыл. Я и толь положил, чтобы сухо было. Хотите, пойдём посмотрим?

Кладбище у них раньше было с километр от селения, поведал он мне, а как деревня хиреть начала-то, они хоронить стали прямо на окраине сельца.

Я заупрямился, а он настоял. Подходим, погост в метрах ста от его избы был устроен. Он показывает на свежий холмик.

– Серафима Кондратьевна тут лежит. Ох, и помучился я с ней. Женщина она в теле была. Пришлось к хитростям прибегнуть, чтоб по-человечески. Чай, не мешок картошки – я её вместе с покрывалом, на котором она лежала, в гроб-то погрузил. Чинно у меня вышло, не потревожил Кондратьевну. Грех ей на меня обижаться. А вот меня Серафима обидела, как есть обидела. Она и помоложе, и поздоровее была, а вот сподобилась... Я был уверен, что переживёт меня Кондратьевна. Я и могилку себе вырыл мелкую, чтобы ей ловчее было и особо не пришлось упражняться со мной. Подумай-ка, никакого предчувствия на душе не было, что помрёт она! Опомниться до сих пор не могу. Объегорила Кондратьевна меня, ох как! – в задумчивости проговорил Фёдор Платонович и замолчал.

Пошёл к избе. Я за ним. Иду, понунив голову. Так грустно мне сделалось на душе, видя, какими заботами удручён этот последний житель деревни. Догнал его, хотел заговорить повеселее, сказать что-то в радость для души, а он опередил меня и говорит:

– Ложитесь отдыхать, Николай Александрович, поди, за день натопались.

А я, и правда, чудеса употребляю, креплюсь из последних сил, чтобы усталость не показать.

– Натопался, Фёдор Платонович, едва на ногах держусь. С вашего позволения, я бы с радостью уже прилёт.

Заводит он меня в маленькую комнату с кроватью и старинным комодом и говорит:

– Вот тут и будет вам ночлег. Тут устраивайтесь и ложитесь отдыхать. А захотите водички попить – я вам сейчас кружку с водой поднесу, – и вышел.

Через минуту снова заходит и ставит алюминиевую кружку на комод.

– А захотите на двор, так уж знаете, как выйти. Вы-то как, завтра и отбудете?

– Я бы завтра хотел ещё побыть, походить по деревне, а вот послезавтра...

– Ну и хорошо, – перебил он меня. – Значит, поговорим ещё. Отдыхайте, добрых снов вам, – высказал он мне очень уж так ласково на ночь пожелание.

Я заметил, что он прямо посветлел лицом, когда я сказал, что послезавтра только намереваюсь отбыть. «А что, может, я здесь и задержусь денька на три, на радость старику, – подумал я, расчувствовавшись. – Кто меня ждёт? Весь в своём полном распоряжении».

VI

На другой день Фёдор Платонович напоил меня чаем. Сам он раньше позавтракал и всё поглядывал на меня пытливо так. За чаем я узнал, что у него где-то сын, не пишет и не звонит. А куда писать-то? А куда звонить-то? Деревню уже давно отрезали от электричества и всех благ социального обслуживания. Последний раз он виделся с сыном лет пять назад. Говорит, что сильно он не сошёлся характерами с женой сына. И двух дней, говорит, пробыть не смог, уехал от них с тяжёлым сердцем.

Рассказывает мне:

– Посмотрел я на жизнь сына своего и говорю ему: «Ты как хочешь, сын, а больше я к тебе ни ногой». Вот дело-то какое! Стоит, мнётся передо мной, курит, а не может поставить на место жёнушку свою. Вижу: я у него не на первом месте. Она у него на первом месте. Такое вот дело. Как он с ней живёт – ума не приложу. Вроде и есть у меня сын, а на поверку выходит: нет у меня сына! Как будто бы хороший парень, уважает меня, но вот завладела эта выдра душой и сердцем парня. Так мне жалко его.

Старик задумался, а я погода спрашиваю его с осторожностью:

– А жена ваша?..

– Жена? – неохотно отвечает. – Уехала. Приезжала тут её младшенькая сестрица, погостить, так сказать. Погостила – да и отбыли вдвоём... Не понравилось ей житие наше. А какому городскому понравится?.. С собой звали... Я не поехал. Жалко мне стало дом и хозяйство. Как это бросить всё на произвол?! Всё ж своими руками поделано, своим горбом нажито. Да и не люблю я... выглядывать, чувствовать себя на курьих правах. Поначалу тосковал. Пожил, пожил, да и, можно сказать, понравилось мне жить-то одному. Так несколько лет и прожил. Человек пятнадцать тут людей ещё жило. Хорошо было. А потом – будто кто позвал... Один за одним... Только успевали закапывать. Думаю, это Егор Иванович подсобил.

– Как так? Кто такой этот Егор Иванович? – спрашиваю.

Фёдор Платонович, рассказывая, всё поглядывал на меня испытующи: видно стараясь проникнуть внутрь меня, понять, что за фрукт я, можно ли на меня положиться в каком-то весьма деликатном для него деле. Я сразу почуял: старик что-то задумал, что-то требуется ему от меня. Но вот что – не доходит до меня.

– Тут случай был у нас в соседней деревеньке, в километрах тридцати отсюда, – начал он, пытливо взглядывая на меня. – Егор Иванович Звонарёв там жил... Бобылём жил, как я теперь, – при этих словах Фёдор Платонович пронзительно так посмотрел на меня. – Я его знал. Не то чтобы очень, но – виделись. Он-то ещё молодой был, ему и пятидесяти пяти не было. Хозяйство держал: овечки, свиньи, козочки там. А вот взял и помер, прямо за столом помер. Сердце, наверно. Всё свое хозяйство позакрывал на ночь, сел поужинать – да и скопытнулся. Ох, не дай, господи, такой участи!.. Только через полгода наведались в ту деревеньку. Картина, не приведи господи, – жуткая! На цепи – пёс издохший, в скотнике – трупы животных, шкуры да кости. В сенях под дверью чучело кота. От Егора Ивановича тоже одна мумия осталась. На нём деревня-то и кончилась таким вот ужасным макаротом. Подумаешь – на душе тошно становится. Видно, в душах людей нашей деревеньки сумятица поднялась, перепугал всех до ужаса Егор Иванович. В один год новое кладбище образовали. Когда мы с Кондратьевной вдвоём остались, – ну, думаем, наш черёд. Очень мы перепугались за животных своих. А что мучить скотину-то зря,

грех на душу принимать?! Как представишь себе положение Егора Ивановича, – сразу не по себе становится. Кондратьевна – она мигом избавилась от своего хозяйства, а я... А я потом уж за ней последовал. Она-то моложе меня, а вот ликвидировала хозяйство, ну а мне сам Бог велел. У меня сердце – как у Егора Ивановича: того и гляди, скопытнусь в самый неподходящий момент. Как ни жалел я, – а что делать? Собака у меня ещё оставалась, так уж такая старая была, «Лаской» звали, так я оставил её. А кто её возьмёт? Подумал: если переживёт меня, так долго мучиться не будет. Дней пять назад околела. Такая понятливая, такая умная была – что человек, разве что в собачьем обличье и не говорила. Последнее время Ласка моя так жалостливо на меня поглядывала, видно, чувствовала... А может, за меня беспокоилась. Я-то вот, как видите...

Я слушал и молчал. Фёдор Платонович говорил и всё поглядывал и поглядывал на меня странным меряющим взглядом. Я по-своему истолковал эти его взгляды и говорю:

– Да не переживайте вы так! Помогу я вам добраться до района. Я вон вижу: у вас и велосипед есть. Соберём ваши пожитки. Что – на себя взвалим, что – на велосипед и дойдём как-нибудь потихоньку.

– Я вот всё думаю, – снова заговорил Фёдор Платонович, будто не услышав меня, – обманула меня Кондратьевна, ей-богу, обманула. Как же я сразу не догадался, не раскусил её задумку?..

– Это вы о чём, Федор Платонович? – спрашиваю я. – Что-то я вас не пойму. При чём здесь Кондратьевна, царствие ей небесное, раз она померла?

– Я и сам так думал, – уцепившись за мои слова, оживлённо проговорил Фёдор Платонович. – А на самом деле – вид состроила, обманула меня. Ох и баба! Ох и хитрющая!..

– Вы что? Вы хотите сказать, что...

– Я прихожу к ней перед обедом, поздороваться, а она лежит поверх постели. Я подумал: спит. Ну и пошёл себе. Думаю, вечером зайду. Про себя ещё подумал: что-то принаряженная Кондратьевна завалилась на постель. А невдомёк мне, что преставилась она. Вечером прихожу – а она всё в том же положении. Потрогал – руки холодные, ну я и подумал, что она – того. Как же хитро всё она рассчитала. Мог ли я думать, какую дикую хитрость она мне устроила? Вот баба! Вот баба! Дней за десять, как преставиться ей, пристала она ко мне:

«Изготовь мне гроб». Я ей говорю: «Зачем? Тебе жить да жить ещё. Успеется». – «Нет, – говорит, – изготовь». Настояла-таки на своём. Изготовил ей гроб. Примерилась. «Ладный, – говорит, – получился». А потом заставила меня и могилку выкопать. Всё место искала. То тут ей не нравится, то там. А потом и говорит: «А вырой мне прямо возле своей, чего ж мне отдельно-то лежать». Ну, вырыл я. Что мне – в тягость, что ли? «Вот и славненько, – говорит. – Поглядела своими глазами на могилку свою. Теперь, – говорит, – и умирать можно». – «Ты, Кондратьевна, – говорю я ей, – не спеши, сначала меня схоронишь, а потом уж о своей смертушке мечтать станешь...».

Фёдор Платонович замолчал, опустив глаза в землю, а я слушал и не знал, что и думать.

– Я решил на другой день её хоронить, – продолжил Фёдор Платонович, очнувшись. – Дни стояли жаркие. Ночью лежу, нет сна и нет, беспокойная жуть одолела меня. Так мне горько и обидно за себя стало. Думал, чужой человек по-людски похоронит меня, а выходит – подыхать придётся, последовав примеру Егора Ивановича. Звать сына, чтобы сидел и ждал моего смертного часа, – это как вы себе представляете? Вот подумайте, как это возможно?.. Вот и я себе представить не могу. Встал я в горьком отчаянии и вышел на улицу. И мне как будто бы показалось, что помелькал огонёк в окнах Кондратьевны. Да я тогда подумал, что померещилось мне. В ту ночь ветер неистовствовал, молнии сверкали далеко где-то. Того и гляди, думал, дождя нанесёт. Но дождя не было – стороной прошёл. Я на молнии погрешил, когда огонёк-то заметил. А это она, значит, вставала, ходила.

И снова Фёдор Платонович замолчал и снова отрешённо задумался. Можете представить моё состояние? Я не знал, что и думать, слушая потусторонний бред старика.

– Так что ж вы сидите? – вдруг оживившись, сказал мне Фёдор Платонович. – Идите, смотрите на деревню. Заговорил я вас.

– А вы со мной не пройдёте? – спросил я.

– Нет, вы уж сами.

– Ну ладно. Можно и в избы зайти?

– А кто ж вам воспрепятствует, заходите, коли мирно, без баловства. Мы с Кондратьевной следили за домами. Всё думали: кто-нибудь объявится. А никто не появился. Никому уже наше добро деревенское

не нужно. Да и далеко. Вы идите, идите. Я тут делами позанимаюсь. А как погуляете, так мы поговорим... Вы правда не уйдёте сегодня?

– Да что ж мне обманывать вас?! – сказал я, а у самого по сердцу холодок заходил.

Послушал я этого последнего из могикан – да и захотелось мне бежать отсюда без оглядки. Я уж не рад был затее своей. Нашёл себе развлечение – на людскую скорбь смотреть. Один ли такой старик наедине с удручающей старостью и диким одиночеством?! Пятнадцать тысяч населённых пунктов прекратили своё существование. Уж можете себе вообразить: не на радости был исход жителей этих деревень. Сами понимаете: всякий человек нуждается и в сочувствии, и в любви, и в жалости. А были ли там любовь и жалость? Думаю, приязнь к месту и безысходность властвовали над людьми да в сопутствие – неприкаянное горе.

Так вот, при таком сделавшемся у меня настроении я себя едва сдержал, чтобы не сказать: «Извините, Фёдор Платонович, пойду я». Стыдно мне стало. Я взялся за рюкзак свой, а Платонович так пристально зыркнул на меня, что я поторопился приободрить себя улыбкой и говорю:

– Фотоаппарат возьму, может, снимаю что.

VII

Пошёл я без всякой радости и настроения. А тут ещё день выдался как раз под тон: серый, неприветливый, ветренный. Иду от дома к дому, нервы – как натянутая струна, того и гляди – сердце остановится. Головой верчу туда-сюда, а ничего не вижу. Мне в дома заходить совсем расхотелось, а поначалу такое любопытство меня распирало. Послушал я старика и тут только понял, что может ожидать меня в осиротевших домах: безысходная грусть и тоска. Думаю: «С моим ли восприимчивым сердцем ходить по домам? Как бы мне самому не скопытнуться от гнетущего чувства».

Кое-как переборол я себя и зашёл в дом Кондратьевны. Ключ был в замке. Всё чисто в доме, никакого беспорядка, будто хозяйка на минутку отошла. Я пошёл было в комнату, но встал, будто удар хватил меня, – не могу и шагу сделать, того и гляди брякнусь на пол. Что за чёрт! Чувствую, вот явно чувствую, что кто-то смотрит на меня.

Не вижу никого, но нутром ощущаю: кто-то стоит и упорно так смотрит на меня, выжидающе смотрит, дескать, что делать я буду.

«Простите меня, – проговорил я, как живому человеку, невольно это у меня вырвалось, – вот зашёл, просто так, посмотреть», – и попытился назад да поскорее на улицу.

«Вот так чудо! – думаю. – Выходит, покойница тело своё оставила, а душа её теперь преспокойненько обосновалась в доме. Живёт себе как ни в чём не бывало».

Для духа, разумеется, никакие замки и запоры не помеха. Так, наверно, и в других домах то же самое: по привидению в каждом доме. Значит, думаю, куда б я ни зашёл, насторожённые духи будут встречать меня, глядя на меня как на злодея. Стерегут, значит, покойники свои дома, ждут, когда к ним явятся дети иль какие близкие, чтобы помолиться за них да выпить по стопке за упокой души. Сам я думаю: «Священника бы сюда. Ой, как надо священника!..».

Совсем расхотелось мне заходить в дома. И к Фёдору Платоновичу вертаться не хочется, не по душе. Ходил я, ходил меж домов, сам как привидение, про фотоаппарат свой совсем забыл, а потом и присел на лавочке возле одного дома так, чтобы Платонович не видел меня. Пусть думает, что я занят своими географическими исследованиями. Сижу и чувствую: аура над селом – как тяжёлая свинцовая туча надвинулась. Про себя думаю: «Это ж сколько удручённости было в сердцах людей, что так давит, душит, прямо гнетёт обстановка над селом!..».

VIII

Сижу так, понурившись, и не заметил, как Платонович из-за дома вывернулся и, должно быть, смотрел на меня какое-то время, а я не замечал.

– А-а, вот вы где, – говорит. – А я уж думал, вы того...

– Я и правда, того, – говорю ему, виновато улыбаясь. – Пойду я, Фёдор Платонович. Что тут делать? Решил вот сегодня... Давит тут у вас, прямо нехорошо как-то мне сделалось.

Он стоит, молчит, в лице переменялся.

– Ну решил, так иди, – холодно мне ответил. – Что тогда тут сидите? Прячетесь?

Повернулся и пошёл от меня. Сильное смятение меня охватило. С одной стороны, хочется взять свои вещи да бежать отсюда подалее от тоски и гнёта, ну кто меня держит?! А с другой стороны, нестерпимо стыдно мне перед Платоновичем. Почему стыдно? Сам не понимаю. Меня даже зло взяло. Я ведь перед этим стариком ни в чём не провинился. Пришёл сам, по своей воле, никаких обещаний не давал и уйти могу по своей воле. Нет меня! Сторонний наблюдатель я. Всё тут шло без меня каким-то своим порядком, тем и закончится, как будто нет и не было меня здесь никогда. Думал я так, а сам понимаю, что лукавлю, хочу обмануть свою совесть. Фёдор Платонович, как всякий одинокий человек, ждёт от меня сочувствия и жалости. Я как бы пообещал ему эти изъявления чувств, а теперь всем своим видом показываю: «Нет, Фёдор Платонович, вы на мой счёт не обманывайтесь». А он мне всем своим видом говорит: «Зачем тогда ты сюда припёрся, если не можешь войти в положение и проявить сочувственное милосердие?..».

Сию я так, сижу и, если бы не рюкзак, где у меня документы и деньги, – ушёл бы, хватило бы, думаю, духу переступить через себя... Через совесть, через жалость. Пошёл бы и, конечно, всю дорогу, пока шёл, оправдывал бы себя. «Ну, что я мог сделать?! – думал бы. – Каждый на моём месте поступил бы так же, разве не так?».

«Что сидеть? – сказал я сам себе. – Бежать надо отсюда. И немедленно. Что душу рвать себе и могиканину этому?».

Встал с твёрдым намерением – и направился к дому Фёдора Платоновича за вещами. Решил, что даже пообедать не останусь. Скажу ему на прощание: «Может, позвонить кому надо – так я в районе позвоню. Может, письмо опустить – так с превеликой радостью сделаю». Скажу: «Прости, Фёдор Платонович, не держи зла на меня».

IX

Я нашёл его сидящим на крыльце в страшно подавленном состоянии. Он встретил меня таким отчаянно тоскливым взглядом, что в душе у меня тотчас всё перевернулось.

– Вот что! – вскричал я. – Что вы на меня так смотрите?! Глазами такими!.. Сейчас мы собираемся, вы берёте документы, вещи на первое время – и мы с вами идём в район. Нет, не сегодня – сегодня мы

уже не успеем дойти. Завтра! Да, завтра! С утра пораньше встанем и пойдём. Обещаю! Я вас не оставлю, пока вопрос ваш не решится.

Сказал я это всё в запальчивости – и смотрю на него. В то мгновение я понятия не имел, каким макаром собирался решить его вопрос, но был в полной убеждённости от своих слов.

– Я что, маленький? – отвечает мне он вдруг. – Я и сам могу, – говорит спокойно-равнодушным тоном. – Только что изменится-то?.. Я себя изведу: как тут и что, – и он обвёл взглядом двор. – Всё равно не выдержу, пойду сюда. Прожить в отчаянной тоске два-три месяца, а потом... Потом захоронят тебя. Где попало... Нет уж! Лучше уж пусть – как Егор Иванович. Рано или поздно кто-нибудь да объявится... Прихоронит.

И он пристально посмотрел на меня так, будто проблемы не в нём, а во мне. Я не знал, что отвечать.

– Хотите мне помочь? Так помогите! Проявите, так сказать, сострадание к старику. Дайте мне по-человечески жизнь окончить...

– Что вы имеете в виду? – сдавленным голосом проговорил я.

Сказал я «что вы имеете в виду», – а сам на подсознательном уровне всё понял.

– Вон моя могилка...

– Вы за кого меня принимаете?! – хрипло вскричал я. – Я что – негодяй, что ли, какой?..

– Да что словами-то бросаться... Будете им! Если бросите меня... Вам и делать-то ничего не придётся, всё за вас будет сделано...

– Господи!.. Это немыслимо! Я немедленно уйду! – воскликнул я и ринулся в дом.

– Пойдите, Николай Александрович, – проговорил он надрывно. – Если бы вы знали, как я вас понимаю. Я всю ночь за вас думал. Вы казнить себя будете больше, если бросите меня в таком положении.

– Я пойду в район... Я сообщу властям, чтобы они побеспокоились о вас.

– И что? – горько усмехнулся он. – Они бросятся спасать чью-то душу, затерянную в этой глухомани?.. Разве я один такой? Нет никому дела до нас. Да, собственно, и правильно, что нет... Мы ведь сами себе приговор выносим: где нам жить и как нам жить. Вы говорите – «сообщу»... А что, я совершаю какое-то преступление, что здесь живу? Ну подумайте сами: допустим, вы добьётесь, придет

кто-нибудь – и что?.. С час потолкается тут, посмотрит на умершую деревню, посочувствует, как вы, да и уедет.

Я постоял в нерешительности да и, подавленный, сел возле Фёдора Платоновича. Привязал меня к себе этот Фёдор Платонович, и чувствую: нельзя от него никак отстать. Я понимаю, что ниточки, которыми он повязал меня, – совесть моя и жалость моя. Во мне от природы заложены и жалость, и сочувствие, и милосердие – по характеру моему и по склонности души. А порой эти качества становятся как слабости человеческие. Да, слабости. Мне бы неуклонную непримиримость выдвинуть вперёд этим моим слабостям – ан нет! Я оказался во власти Фёдора Платоновича. Прочитал меня могиканин, как открытую страницу, да и упорно склоняет к своему дьявольскому замыслу.

– А что же ваш сын? – спросил я после долгого молчания. – Давайте я напишу, позвоню ему или, на худой конец, поеду к нему.

– Телефона его я уже не знаю, забыл. Писать – не буду. Он знает, где я живу, – как-то отрешённо и холодно сказал могиканин. – Он тут родился. Дорога ко мне ему известна. Захочет – приедет.

– Так вы хоть что-нибудь напишите ему...

– Что я напишу ему? Что?.. Он уже лет десять здесь не был. Та его не пускает ко мне, а у самого характера ни на копейку... Пусть будет на его совести. Но я его не осуждаю, не держу зла на него. Что злиться?! Сам себе жизнь выбрал.

Он помолчал.

– Так вы сегодня не уедете?..

Х

...Рассказчик замолчал и надолго бесцельно уставился в окно.

– Вот такая история со мной приключилась, – наконец сказал он.

Томарин в удивлении посмотрел на своего попутчика.

– Я так понимаю, что это не конец истории?

– Два года прошло, – задумчиво проговорил Червинцев, – а будто вчера, так ясно вижу перед глазами картину: деревню эту с домиками, Фёдора Платоновича на крыльце, особенно глаза его – грустные, пронзительно-молящие. Вспоминал я часто свой вояж в эту деревню с познавательными географическими целями. Вспоминал и разжигал свою фантазию: что там теперь с этой деревней? Стоит ли, зарастая

травой и лесом, или спалили её, или поглумились над ней – растащили всё по бревнышку? Не мог совладать, поддался чувствам, решил съездить опять в эту деревню. Знаете, тянет в те места, где человеку пришлось испытать высокий накал чувств. Как преступника тянет на место преступления, так и меня потянуло.

– И что же, съездили? – нетерпеливо спросил Анатолий Алексеевич.

– Вот оттуда и возвращаюсь. Ехал я туда – надломленный своими переживаниями и терзаниями сердца, а вот возвращаюсь с иными мыслями и иным взглядом на мир.

Томарин воззрился на рассказчика с немым вопросом, теряясь в догадках.

– Да, теперь мне предстоит многое переосмыслить, – продолжал Червинцев. – Вот скажите мне, почему мы часто и много страдаем, бродя душой в потёмках, часто не находя ответа на самые простые вопросы? Чувствуем себя одинокими, забытыми, потерянными, ничтожными и жалкими. Мы забыли, кому мы обязаны своей жизнью. Каждый божий день должен быть нам в радость, а мы в тоске и печали сетуем на кого угодно, только не на самих себя. Нам бы уповать на Бога...

Томарин, услышав эти слова, невольно ухмыльнулся.

– Не улыбайтесь, Анатолий Алексеевич. Мы утратили самое дорогое в чувствах русского человека – Веру.

– Вы начинали свой рассказ несколько под другим углом зрения, – заметил Томарин. – Теперь вас вдруг как-то снесло...

– Мне не хотелось с этого начинать. Я только теперь, кажется, начинаю понимать, как это важно для России и для русского православного человека – Вера! Нам с такими огромными территориями и с такой отчуждённостью власти от народа – без Веры нельзя! Даже умирать с чувством Веры легче, чем уходить в мир иной с ужасным томлением в сердце. Как ни грустно было мне видеть умирание деревни, а жизнь-то идёт своим чередом, и жить надо с Верой в сердце.

– Каким же образом произошло в вас это божественное прозрение? – с некоторой долей иронии спросил Томарин.

– Случай, Анатолий Алексеевич, случай. А возможно, для жизни моей, для души моей – данное мне спасение.

– Простите меня, но я всё же надеялся услышать конец вашей истории.

Червинцев посмотрел-посмотрел на меня – да и продолжил.

XI

Поехал я. И вот на одной большой станции подсаживается к нам в вагон священник, в рясе, с крестом на цепи. Если бы это был пожилой человек, – я бы нисколько не смутился. Но в купе вошёл молодой человек лет тридцати-тридцати пяти. Но ещё больше не в пользу этого священника говорила его внешность. Это был красивый мужчина с густыми чёрными волосами, окладистой бородой. Словом, мне подумалось: в мирской одежде быть должен этот человек – ну никак не в облачении божьего служителя. Разговорились мы, когда он устроился. Я так ему и сказал, как подумал:

– С вашими внешними данными не в церкви вам надо пребывать, а поискать другой доли от жизни.

А он мне отвечает:

– Разве лик Бога некрасив? Лик Бога так красив, что радует беспрельдно сердце. Разве Богу не могут служить красивые люди? По вашему мнению, только несчастные и юродивые могут уповать на Бога? Это не есть мой недостаток, чтобы жизнь мою не отдать Богу. Недостаток в глупости и в отсутствии Веры...

– А вы верите? – перебил я его с едкой иронией.

– Лучше верить в Бога, – говорит мне, – чем ни во что. Безверие порождает томление в душе, растерянность человека перед трудностями жизни.

– А вы живёте без трудностей?

– Я прибегаю к Библии и молитве – там мудрость, знание и радость, благоговейное возношение ума и сердца к Богу. Но мне знакомы смятение и печаль. сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Слова из Библии.

– Значит, у вас на каждое моё возражение найдётся ответ из Библии?

– Лучше сказать нужное слово, чем промолчать. Как знать, может, оно послужит человеку как луч надежды. На ваши холодные слова я только могу воскликнуть: «Как тяжело не верить в Бога!».

Признаюсь, я был поражён образованностью и убеждённой молодого священника. Я про себя ещё подумал: вот если бы все такие были в кропотливом познании божественной мудрости, – возможно, православие намного увереннее завладевало бы сердцами людей после социалистической неприязни к Богу.

Надо сказать, что по мере разговора, проникшись уважением к священнику, я узнал, что он как раз едет служить в церкви в том самом районе, куда направлялся и я. Прельстился я встречей со священником, думаю, судьба посылает мне случай, – и, когда мы уже были на станции, – говорю ему:

– Батюшка! Простите меня за недоверие к вам. Вы достаточно мудро проникли в моё сердце. В моей душе произошло смятение, но сейчас я обращаюсь к вам и молю вас не о спасении своей души...

И поведал ему о тяжкой ауре, прочувствованной мною в той несчастной деревне. Стал просить его отправиться со мной завтра же и провести обряд служения по усопшим. И, на моё удивление, молодой батюшка без колебаний согласился.

ХИ

Когда мы пришли в деревню, – я прямо обрадовался: деревня была! Заросла, правда, сильно заросла, даже поросль берёзы появилась, благоденствующая на открытом пространстве. Дом Фёдора Платоновича стоял как прежде, только двор порос травой. Берёзы до его усадьбы ещё не добрались. Не без трепета ступил я во двор усадьбы бедного Фёдора Платонович, живо воскресив в памяти наш с ним тяжёлый разговор.

Вошёл в дом. На столе – написанная для меня уже пожелтевшая записка, к которой я так и не прикоснулся тогда... И теперь не дотронулся...

...

Я, когда на другой день проснулся, хозяина дома не обнаружил, а увидел эту записку. Крупными буквами в ней писалось: «Христом Богом прошу, милый человек, обладь могилку. Уважь, ангелом тебе служить буду».

Слово-то какое нашёл: «обладь»...

Увидев эту записку снова, я расплакался, что редко со мной случается. И расплакался так горячо, так безутешно, что долго не мог успокоиться. Молодой батюшка проявил ко мне удивительное сочувствие и понимание, и, наверное, от этих его ласковых, обволакивающих душу слов я ещё сильнее рыдал. Мне казалось, что из меня исторгались тоска и печаль, накопившиеся за эти два года.

Потом батюшка эту записочку сжёг, читая молитву. Не знаю я, к каким мыслям и догадкам он дошёл, но ко мне отнёсся благосклонно. Мы с ним ни о чём таком не заговорили. Я не открылся ему так, как перед вами. Но молился я, не зная молитв, как умел, конечно, горячо и страстно. Думается, он и так всё прочел в моём сердце.

А когда я наконец опустошил своё сердце и стал способным видеть и воспринимать, – я понял, что за эти два года никого здесь не было. Сын, который мог приехать, по всему видно было, так и не приехал. Мы пошли к погосту. На могиле Фёдора Платоновича я уже не плакал, только стоял, понуриив голову. Могилка совсем немного за два года просела.

– Ну, здравствуй, Фёдор Платонович, – сказал я и трижды, низко кланяясь, осенил себя крестным знаменем.

Молодой батюшка уже просветил меня о значении крестного знамения. «Мы касаемся лба, – говорил он, наставляя меня, – чтобы освятить наши мысли; живота – чтобы освятить наше тело; правого и левого плеча – чтобы освятить дела наших рук».

Я и не знал этого, к своему стыду. Век живи – век учись. Как здорово! Не только с христианской точки зрения необходимо для человека, но и с практической – полезно! Держать в порядке мысли, тело и дела...

Батюшка прочитал на могилке молитву.

А потом, облачившись, приступил к совершению обряда о блаженном упокоении усопших. С иконой Пресвятой Богородицы, которую батюшка всю дорогу бережно нёс (а я нёс все наши вещи и провизию), мы совершили крестный ход вокруг деревни, продираясь сквозь заросли бурьяна. У молодого батюшки оказался красивый сильный голос. Как величественно и торжественно он звучал! Я и сейчас слышу это пение. Казалось, мы были не одни, а вся деревня следовала за нами в крестном ходе. Я ещё никогда не переживал такого высо-

кого подъёма души в безлюдной глуши. Как всё оживилось, как всё просветлело! Всего-то две души шли по забытой отжившей деревне, оживляя её молитвой и ликом иконы Божией Матери...

А потом мы принялись за работу – стали выкашивать траву, вырубать берёзы. Я никогда в жизни не работал с таким радостным остервенением. Два дня мы там прожили в молитве и в работе. Я спал в той комнате и на той постели, на которую меня два года назад укладывал Фёдор Платонович.

Когда мы возвращались, молодой батюшка мне сказал:

– Мы с прихожанами часовенку там поставим.

– Я пожертвую, – с воодушевлением сказал я. – Только, пожалуйста, поставьте часовенку, поставьте!

– Не сомневайтесь, поставим, – ответил он мне. – Я буду ходатайствовать перед епархией об учреждении обители. Место богоугодное для уединённого поселения монашествующих.

– Это замечательно! Глядишь, оживёт деревенька. Вот благодать будет!..

ХІІІ

Этими словами Червинцев закончил свой рассказ и долго смотрел в окно, не обращая никакого внимания на попутчика.

– Подъезжаем, – сказал он. – Мне скоро выходить.

Сказав это, он проницательно посмотрел на потупившегося Томарина, как бы собираясь прочесть в его глазах приговор себе. Томарин понял его, ответил взглядом на взгляд и подумал, что отмолчаться будет нехорошо с его стороны. Хотя кто они – случайные попутчики? И, как случайные попутчики, вольны поступить как вздумается. Расстанутся – и поминай как звали, с глаз долой, какое бы то ни было осуждение.

Анатолий Алексеевич решил меж тем ответить.

– Если бы вы не завершили свой рассказ встречей со священником, я бы не знал, что и думать. Грустная история, да, очень грустная история. Но упование на Бога вселяет надежду. Вы ухватились за Веру – как за спасательный круг. Сложно жизнь наша устроена, – говорил Анатолий Алексеевич, путившись отделаться философскими фразами, – к каким только испытаниям нас не приводит...

– Ладно, буду собираться, – с натянутой улыбкой прервал Червинцев Томарина и стал складывать свою постель.

Томарин вышел из купе несколько сконфуженный, постоял в коридорчике у окна – да и шагнул вдруг решительно обратно в купе. Он понял, что́ нужно сказать случайному попутчику.

– Вы меня не осуждайте, Николай Александрович, за философию мою. Я не знаю, как бы я сам поступил, окажись на вашем месте. Я не знаю, возможно ли это ещё где-нибудь, кроме России. Только у нас в России – трогательно и ужасно, с надрывом сердца и томлением души – происходят такие трагические истории. Вы себе грех на душу взяли... Хотя не знаю – взяли ли? Вам судить и вам с этим жить. Волен ли я судить... Бог вам судья. А вы, как я понимаю, и так уже к нему прибегли...

